

ЭМОЦИИ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Наталья Граматчикова, Юлия Зевако

Наталья Граматчикова, Центр истории литературы, Институт истории и археологии УрО РАН, Россия. n.gramatchikova@gmail.com.

Юлия Зевако, Лаборатория междисциплинарных гуманитарных исследований, Институт истории и археологии УрО РАН, Россия. zevakojulia@gmail.com.

Авторов предлагаемого исследования объединяет интерес к эмоциональной составляющей памяти в документальных свидетельствах советской эпохи и меморативных нарративах о ней. Поляризованность рецепции исторического контекста 1930–1980-х годов привела к тому, что память о героях и «антигероях» фиксируется в двух разных типах архивных документов, которые на практике могли отражать этапы жизни одного и того же человека. Фокусируясь на понятии автобиографической памяти, авторы предлагают рассмотреть архивное наследие ветеранов эпохи индустриализации и рецепцию материалов следственных дел эпохи Большого террора через призму эмотивной лексики. Источниками исследования послужили коллекция воспоминаний ветеранов машиностроительного завода о времени их молодости и их вкладе в строительство завода в 1929–1933 годах, а также корпус полуструктурированных интервью с потомками репрессированных, взаимодействовавших со следственными делами своих предков. Ключевые задачи исследования состояли, с одной стороны, в том, чтобы проанализировать, каким образом эмоциональные режимы формирования документов в 1930-х и в 1960–1980-х годах влияют на трансляцию памяти о 1930-х годах; с другой – каким образом акторы межпоколенческой трансляции справляются с поляризованным меморативным контекстом.

Уже на этапе формирования документы и эго-документы советского времени ограничивают эмоциональную палитру скриптора, а воспоминания передовиков производства обусловлены жанром не меньше, чем следственные дела. Смена исторического контекста и утрата предполагаемого читателя обоих типов документов создают необходимость интерпретационной работы для наших современников. При анализе воспоминаний ветеранов устанавливаются некоторые неочевидные причины эмоциональной редукции и определяются наиболее свободные для выражения эмоций композиционные позиции. Потомки репрессированных, сталкиваясь в текстах следственных дел с дефицитом эмоциональности и настроиваясь на сопротивлительные аффективной стилистике допросов и доносов, говорят в интервью о своей телесной включенности в коммуникацию с артефактом, помогающей пережить эмпатию по отношению к своему родственнику. Авторы приходят к выводу о продуктивности использования понятия «протезной памяти» (по Элисон Ландсберг) в автобиографическом нарративе как о «героях», так и о «врагах». Соположение документов разных эпох, объединенных рамкой автобиографической памяти, показывает, что «чувственный опыт» (авто)биографического нарратива может быть полу-

чен как ресурсами (авто)коммуникативной памяти, когда субъект ретроспективно осмысляет собственный жизненный опыт, так и механизмами культурной памяти – через стимулирование воображения и эмоций в качестве реакции на «документ эпохи», благодаря чему таковой наделяется личностным смыслом.

Ключевые слова: автобиография; архивно-следственное дело; эго-документы; воспоминания; память; эмотивы; репрессии; ветераны; жертвы; герои

ВВЕДЕНИЕ

Память – сложный инструмент, связанный как с постоянно меняющимися контекстами человеческой жизни, так и с прошлым опытом, в котором присутствует сформировавшееся представление индивида о самом себе и событиях жизни. Работа памяти – постоянно соотносить эти контексты и сюжеты, но что в ней закрепляется? Человеческая память – не безучастная регистрация бывшего; она реагирует на эмоциональную окраску событий и ее интенсивность. Эмоции, сопровождающие важную для выживания ситуацию, были и остаются базовым элементом формирования памяти, в первую очередь произвольной (McGaugh 2003; Payne et al. 2004; Reisberg and Heuer 2004).

Автобиографическая память существует как в текучем состоянии, доступ к которому можно получить через качественный анализ интервью (понимая, впрочем, что каждое интервью представляет собой лишь момент фиксации сюжетов, обусловленных конкретной коммуникативной ситуацией), так и имеет культурно обусловленные формы (автобиографии, дневники, автопортреты, эго-документы). Ресурсы автобиографической памяти в определенных ситуациях становятся объектом интереса власти (например, в ходе следствия).

Интерес к эмоциональной составляющей памяти в документальных свидетельствах советской эпохи, а также их рецепции в современности объединили нас для работы над представляемым исследованием. Поляризованность исторического контекста привела к тому, что среди архивных документов образовались как минимум две группы источников, фиксирующих память о героях и жертвах эпохи. На практике они нередко представляли разные этапы жизни одного и того же человека: сначала попавшего под репрессии, а затем, возможно, вернувшегося к активной профессиональной деятельности, либо наоборот – навсегда вырванного арестом из круга уважаемых работников. Тем не менее дискурсивно эти практики памяти практически никогда не пересекались: трудовые заслуги арестованных обнулялись, а герои, бывшие в опале, не упоминали затем о темных страницах прошлого. Объединяет тех и других эпоха 1930-х годов и наличие наследников – наших современников, ищущих сведения о своих предках либо среди воспоминающих ветеранов, либо в материалах архивно-следственных дел.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Право на документально зафиксированную государством память нечасто выпадает «обычному» человеку. Фиксации такого рода памяти в советское время массо-

во практиковались архивами отделов кадров больших предприятий, с которыми тесно сотрудничали ведомственные музеи, а также архивами органов охраны правопорядка, где оседала информация совсем иного рода. Однако в некоторые периоды отечественной истории момент фиксации памяти (награды или наказания) в биографии конкретного человека оказывался делом случая. Изучая документы 1930–1980-х годов, целенаправленно формирующие память о героях и антигероях, мы заметили, что при всей противоположности устремлений создателей текстов их интерпретация потомками в третьем-четвертом поколении порождает схожие трудности, нерв которых – в запросе потомков (наших современников) на эмоциональный контакт с «предком» и на тот весьма специфический характер «ответа», который только и возможен из этих текстов. Так и родилась идея предлагаемого исследования, заключающаяся в попытке подобрать единую эвристическую оптику, с помощью которой можно описать эмоциональный «профиль» предка.

Проблему роли эмоционального контента в массовых документальных источниках советской эпохи, фиксирующих память о героях и антигероях / жертвах, а также характер эмоциональных реакций потомков на эти источники мы исследуем на материале двух групп документов. Первая – «Воспоминания работников Уралмашзавода Музея истории Уралмашзавода», созданные по инициативе парткома завода для организованного в 1967 году Музея трудовой и боевой славы Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ) в г. Свердловске¹. Воспоминания написаны старейшими работниками завода в ответ на разосланную им анкету, схожую с анкетой отдела кадров, в которой предлагалось подробнее рассказать о трудовой деятельности на заводе в годы его строительства (1926–1933) и Великой Отечественной войны. Первоначально проект был приурочен к полувековому юбилею Октябрьской революции, однако приобрел размах, и воспоминания поступали в музей до 50-летия Уралмаша в 1983 году (и несколько далее), превысив количество в 300 экземпляров. Среди авторов текстов работники УЗТМ самых разнообразных профессий и социального статуса: от начальников конструкторских бюро и цехов до рабочих сантехнических служб, крановщиков, бухгалтеров и других; нет среди них лишь профессионалов пера. Объем воспоминаний разнится от одной страницы до многостраничных рукописей. Пытаясь сохранить контроль над практиками памяти, партком завода пытался фильтровать акторов «памяти снизу» – в первую очередь призыв написать воспоминания относился к ветеранам-коммунистам, однако не только члены партии, но и все авторы материалов фонда исключительно лояльны Уралмашу, определившему их карьеру, социальный статус и жизненный путь.

Память иного рода зафиксирована в текстах архивно-следственных дел репрессированных в эпоху Большого террора, которые хранятся в ведомственных (прежде всего в Центральном архиве ФСБ и аналогичных архивах в региональных УФСБ) и государственных архивах (Государственном архиве РФ и выборочно в

¹ Ныне это Музей истории Уралмашзавода (г. Екатеринбург). Музей передал документы на хранение в Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Более подробную характеристику материалов Фонда можно найти в Енина и Граматчикова 2021.

аналогичных архивах на местах). Эти документы мы, в соответствии с фокусом нашего исследования на эмоциональных реакциях, условно обозначим как *тексты-стимулы*, тогда как *текстами-реакциями* будем называть интервью с потомками репрессированных, отстоящих от предков на три-четыре и более поколений. Именно тексты-реакции станут предметом анализа в данной статье. В личном архиве ее соавтора Юлии Зевако более 40 таких интервью, проведенных в 2021–2023 годах. Возраст информантов от 18 до 70 с небольшим лет; распределение по полу примерно равное во всех возрастных категориях; как правило, информанты – жители крупных городов России, получающие/получившие высшее гуманитарное образование и интересующиеся семейной историей².

Таким образом, понятиями, позволяющими очертить общее проблемное поле, для нас становятся автобиографическая память в ее соотношении с коллективной в целом и семейной памятью в частности, а также способы выражения эмоций в текстах мемуаров уралмашевцев и устных интервью потомков репрессированных, то есть эмотивы и организующие их эмоциональные режимы – «комплексы практик, устанавливающие набор эмоциональных норм и наказывающие тех, кто их нарушает» (Reddy 2004:323–324). Рассмотрим перечисленные понятия от более специфичных к более общим для нашего материала.

Начнем с различения эмоций и чувств. Эмоция представляет собой краткую непосредственную реакцию на события, то есть привязана к ситуации, тогда как чувство – это «устойчивое пристрастное отношение человека к какому-либо одушевленному или абстрактному объекту», определяющее готовность человека эмоционально реагировать на те ситуации, в которых оказывается объект чувств (Ильин 2001:667). Ряд эмоциональных явлений находится в пограничном положении, что отражается в языке: мы называем чувствами страх, тревогу, злость, зависть, хотя их конкретные ситуативные проявления скорее выдают природу эмоций, нежели устойчивость чувств. Эмоции и чувства могут быть выражены в различных видах эмоционального поведения – развлечение, горевание, забота, аскетизм и гедонизм и др. Наши авторы и информанты обращаются к эмоциональной сфере в ее ситуативной диффузности. Принципиальны для нас два момента: во-первых, сильнее запоминаются эмоционально окрашенные события; во-вторых, эмоции являются главной побудительной силой изменения поведения и/или образа мыслей человека – как пишущего, так и читающего.

Наше исследование не предполагает непосредственного контактирования с эмоциями и чувствами информантов; мы работаем с текстами, отражающими эмоциональные состояния (в том числе транскрипты интервью), то есть в поле эмоций русского языка, запечатленном в эмотивной лексике. Здесь мы опираемся на заключения Уральской школы идеографической лексикографии о том, что «все множество эмотивной лексики представляет собой объемное целостное когнитивно-дискурсивное поле, аккумулирующее всю лексику, передающую знания и пред-

² В тексте статьи ссылки на цитируемые интервью будут обозначаться следующим образом: порядковый номер в полевого архиве автора, пол информанта, поколение от репрессированного родственника, а также необходимые добавления в случаях, требующих более конкретного пояснения.

ставления об эмоциях, формируемое на основе базового когнитивного понятия, суперклассификаторами и идентификаторами которого являются слова *чувство, чувствовать, испытывать* и под[обные]» (Бабенко 2021:16; курсив добавлен). Эмотивная лексика отображает эмоции без специализации, в различных «грамматических масках» (17)³, и лишь незначительная часть эмотивной лексики организована в оппозиции, по типу «вера – неверие», «искренность – лицемерие» и так далее; большинство же оппозиций имеют эмотивные группировки в зоне переходности, как, например, «спокойствие – возбуждение – раздражение – беспокойство», где зона отрицательных эмоций наполнена больше.

Конструктивистский подход к эмоциям позволил проявить разнообразие аффектов и оценить вклад социума в их формирование. Уильям Редди пишет: «Формирующая сила эмоций настолько значительна, что ни одно человеческое сообщество не может позволить себе ее игнорировать. Поэтому эмоции имеют высочайшее политическое значение» (Reddy 2004:332). Эмоции, контроль и управление ими активно влияют на происходящее, то есть обладают инструментальным значением. Тот, кто заявляет о своих эмоциях в присутствии другого лица, проявляет и усиливает их в коммуникативной ситуации и, таким образом, управляет ею. Эти перформативные ресурсы языка в отношении эмоций Уильям Редди предложил назвать *эмотивами* (330). Эмотивы не просто называют эмоции, но и закрепляют их в текущей коммуникативной ситуации и в памяти. Так, цель нашего исследования состоит в том, чтобы определить, каким образом эмоциональная составляющая официальных документов советской эпохи влияет на трансляцию памяти о предках, а также ее индивидуальную и семейную рецепцию. Это, в свою очередь, предполагает решение нескольких задач: определить, какого рода нормы выражения эмоций в наибольшей мере проявляют себя в меморативных текстах разной устремленности, посвященных одной эпохе; и проверить гипотезу о неоднородности памяти об эмоциях (что *должно* помнить) и, возможно, неоднородности самой «эмоциональной ткани» памяти (каким образом должно влиять на уместность эмоциональности в меморативных нарративах), поскольку и процитированный выше Редди предупреждал о невозможности полного контроля эмоциональной сферы со стороны мыслительной (321). Кроме того, мы пытаемся выяснить, каким образом современные акторы межпоколенческой трансляции / наши современники работают с поляризованным меморативным контекстом, для чего в качестве рабочих терминов мы вводим понятия «текстов-стимулов» и «текстов-реакций», позволяющие проявить некоторые вербально выраженные механизмы формирования памяти.

Второе поле понятий, очерчивающих проблематику нашей статьи, касается памяти, из всего множества типов которой мы сфокусируемся на автобиографической. Согласно концепции Яна Ассмана – Аллейды Ассман межпоколенческая трансляция памяти осуществляется как в живом общении (коммуникативная память), так и че-

³ Эмотивная лексика как функционально-семантическое поле представляет собой совокупность функционально-семантических классов (ФСК) слов, интерпретирующих протекание и переживание эмоций: ФСК эмоционального состояния, отношения, воздействия, внешнего выражения эмоций, эмоционального качества, эмоциональной характеристики человека как носителя эмоций (Бабенко 2021:17).

рез культурные механизмы. (Авто)биографические нарративы в таком аспекте рассмотрения – это тексты, разнообразными способами конституирующие и связывающие «коммуникативную» и «культурную» память (Ассман 2014). Автобиография как тип повествования есть репрезентация идентичности/ей. Идентичность может пониматься как «жесткая», когда акцент делается на ее устойчивости, однородности и целостности, обнаруживая культурные типажи и стереотипы, так и как «мягкая», дискурсивная, описанная в русле социального конструкционизма Мишеля Фуко (Брубейкер 2012:84). Дискурсивная идентичность при таком подходе – это социальная переменная, существующая в языке и только в языке (Сандомирская 2002:41); в процессе речи говорящий конструирует и собственную, и чужую идентичности, пользуясь для этого доступными ему в конкретной ситуации дискурсивными смыслами, по большей части неосознанно (Енина 2016:160). Это понимание поддерживает и дискурсивная психология, утверждающая, что идентичность «проявляется и формируется в интеракции»; она пластична, ситуативна, изменяема, вплетена в широкий культурный контекст и воспроизводима на базе существующих социальных практик (Мельникова и Кутковая 2014:59).

Автобиографическая память, ресурсы которой используются для конструирования идентичности, также подвижна. Вслед за Вероникой Нурковой мы понимаем (авто)биографическую память не как «реактивное “хранилище” отпечатка эмпирики жизни, а как текучий, постоянно приравливающийся к целям человека процесс согласования пережитого с предвосхищаемым» (Нуркова 2010:76); это «не “репродукция” прошлого, а его “реконструкция” под воздействием нового опыта» (Нуркова 2000:23–25).

Таким образом, в нашем распоряжении оказываются два корпуса текстов, фиксирующих не столько жанровые эмоциональные палитры 1930-х годов, сколько их отражение (эхо) спустя десятилетия. В случае ветеранов Уралмаша это воспоминания о собственной молодости и о коллегах-первостроителях спустя полвека и более; в случае «антигероев» мы работаем с текстами исследовательских интервью, которые проводили с их потомками. Сопоставив корпуса текстов, нетрудно заметить отсутствие цельной корреляции между ними. Тем не менее несколько объединяющих моментов, на наш взгляд, позволяют использовать эвристический потенциал соположения такого рода текстов и видеть перспективу продолжения исследования в заполнении всех позиций для пар «герои – антигерои» и «участники – наследники». Во-первых, это тексты памяти о 1930-х годах, собранные в моменты их массового бытования: для позднесоветской эпохи «рассказы ветеранов» – устойчивый массовый жанр, однако архивы еще закрыты и следственные дела недоступны; для постсоветской эпохи музеи заводов – тяготящее, руинированное наследие, где воспоминания бывших героев кажутся «неискренними», а возможность заглянуть в «неудобное» прошлое семьи – интригующей и наконец реальной. Во-вторых, в случаях анализа текстов автобиографической и семейной памяти мы имеем дело со сложным конструктом «я» и «тела» в принципе: мемуарист как бы «раздваивается» на «я-в-настоящем» и «я-в-прошлом». Менее очевидно, что потомок, запрашивающий в архиве следственное дело предка, ищет в нем частицу себя, своей семейной памяти, и «приращивает» ее к себе через неко-

торое автобиографическое переживание. В-третьих, наш материал показывает, что дискурсивность в выражении эмоций велика, но неоднородна. Можно обнаружить топосы (локации; композиционные и жанровые структуры) и условия, при которых взаимодействие личного и коллективного, нарративного и дискурсивного наиболее драматично.

Итак, перейдем к анализу текстов.

АВТОРЫ, АДРЕСАТЫ И ЧИТАТЕЛИ ТЕКСТОВ

Обе группы документов, отобранных для рассмотрения, по-разному несут на себе отпечаток высокой доли влияния политических и государственных структур и контекста при их создании.

Ветераны-коммунисты Уралмашзавода по призыву партийного комитета завода писали воспоминания, в которых должно было отразить роль партийной и комсомольской организаций Уралмашиностроя (1928–1932) и затем Уралмашзавода (с 1931 года) в создании завода. Однако люди относились к поручению парткома очень по-разному, создавая разнообразные по объему и характеру тексты; некоторые личные дела содержат несколько вариантов рукописей, датированных разными годами. Задача, стоявшая перед ветеранами-первостроителями, могла быть сформулирована так: «описать первые годы строительства Уралмашзавода и годы войны, а также свой трудовой вклад в становление завода». Легкость, с которой ветераны справлялись с этой задачей, определялась компетенциями *homo scribens*: например, бывшие парторги и комсорги с легкостью воспроизводили коллективное *мы* и список деяний. Тезис о том, что «проживаемая жизнь строилась и читалась как своего рода текст, обладающий определенным кодом», утверждает Андреем Зориным (2016:10) в качестве основополагающего для (авто)биографических исследований и восходит к работам Юрия Лотмана. Примеры, приведенные в сноске⁴, характеризуют освоенный заводчанами язык рассказа об

⁴ Вот, например, фрагмент воспоминаний парторга Полевой ремонтной базы № 16 о годах Великой Отечественной войны (здесь и далее мы сохраняем орфографию и пунктуацию цитируемых источников): «Люди Уралмаша, воспитанные партийной организацией завода и коллективами цехов и отделов были настроены по-боевому, добровольно отправляясь в прифронтовую полосу для работы в рембазе. Они понимали ответственность поставленной перед ними задачи, готовили себя к любым трудностям, с которыми им придется в будущем столкнуться во время работы в тяжелых и напряженных условиях прифронтовой полосы. На фронте ремонтники готовы были все 24 часа в сутки не отходить от поврежденных машин, лишь бы скорее вернуть их в строй» (ГАСО, Герчиков б.д.:1). Начальник полевой рембазы № 403/3 следует той же общей тональности: «Днем и ночью люди полевой рембазы восстанавливали танки не жалея сил, а порой и жизни, ведь чаще всего ремонт производился на поле боя под огнем противника. Какую храбрость и хладнокровие нужно было иметь, чтобы работать, когда рядом рвутся снаряды и мины. Но ни артылеты, ни бомбежки – ничего не мешало нашим людям выполнять свой долг перед Родиной в грозные для нее дни» (ГАСО, Яхнин 1980:1). Доступное в текстах «низовое звено» – воспоминания мастера по ремонту контрольно-измерительных приборов – в том же дискурсе: «Все мы, посланцы Уралмаша, трудились с большим патриотизмом, помня о том, что наш труд есть удар по ненавистному врагу, что мы отдаем свои силы в общее дело разгрома фашистской Германии» (ГАСО, Собанцев б.д.:1).

участии рабочих тыла в Великой Отечественной войне, дискурсивно разработанный в массовой культуре и публицистике. Обратим внимание на то, что авторы не столько описывают свой личный вклад в качестве участников, сколько выступают как свидетели коллективного подвига, подтверждающие храбрость, хладнокровие, неутомимость, преданность коллективным ценностям и т. д.

Проблематика соотношения индивидуальной и коллективной памяти и идентичности работников заводов-гигантов была рассмотрена в научном проекте, посвященном фонду воспоминаний ветеранов Уралмаша, где анализировалось конструирование коллективной идентичности через создание образа общего для всех прошлого, а также выявлялись образцы письма 1930-х годов, способные послужить авторам подспорьем в их труде описания прошлого (Енина и Граматчикова 2021). Так, один из выводов предыдущего исследования состоял в том, что практики письменной памяти непрофессиональных литераторов, потенциально ориентированной на публичность (по запросу Музея трудовой и боевой славы УЗТМ), практически полностью определяются текущим культурно-массовым контекстом. Некоторые фрагменты воспоминаний уралмашевцев являются своеобразными «реакциями» (текстами-реакциями) на письма к ним музейных работников и краеведов, газетные статьи, стихи, песни и книги об Уралмаше. Пробуждающие память и побуждающие припоминать такие исходные тексты-образцы также можно обозначить через понятие «текстов-стимулов» (о возможности «подмены» воспоминаний см. ниже). Однако такого рода «тексты-стимулы» упоминаются в записках уралмашевцев лишь в некоторых случаях, что можно объяснить разным уровнем образованности авторов и их неравномерной включенностью в культурный контекст, то есть в общем виде – разными писательскими компетенциями. В текстах большинства заводчан все же заметна некоторая скованность и склонность использовать в качестве основной модели воспоминаний привычную делопроизводственную автобиографию, предполагавшую следование фактам и не нарушающую «риторики скромности» «простого советского человека», хотя к 1960-м годам заводчанам были доступны очерки о заводе и его людях, документальные и художественные фильмы, предлагающие каноны жизнеописаний (Енина и Граматчикова 2021).

Свобода обращения с сюжетами собственного прошлого находится также в прямой зависимости от адресата. Наиболее официальный из них – «Партком завода», возможен вариант «В дар музею». Фонд содержит и письма, адресованные конкретным лицам – сотрудникам музея либо энтузиастам-краеведам, и это наиболее эмоциональная часть коллекции. В них можно выделить центральную повествовательную часть, обрамленную метатекстовыми ремарками относительно соответствия/несоответствия текста «образцу», существующему в представлении автора: «Я немного растерялся получив ваше письмо, потому прошу вас извинить меня если что-нибудь не так написал» (ГАСО, Бакиров б.д.:11).

Кроме эксплицитного адресата писем в заглавии документа по мере погружения в текст (и в память) авторы оперируют различными группами воображаемых читателей – «своих», среди которых «товарищи», «уралмашевцы», «уральцы», «коллеги», «труженики нашего завода», друзья и подруги («милые девочки»),

«нынешняя молодежь»⁵. Все авторы так или иначе предполагали, что их воспоминания будут использованы для уточнения славных страниц истории УЗТМ и, вглядываясь в уже нечеткое для них прошлое («Видите как все неточно, как все забылось и Лили Абрамовой уже нет помоч мне в именах и фамилиях людей» (ГАСО, Анисеева 1983:3)), обращались именно к будущему. Уточним, что обсуждаемые воспоминания стали предметом научного исследования лишь несколько лет назад, а до того использовались фрагментарно как вспомогательный историко-краеведческий источник. Таким образом, ветераны – краеугольный камень трансляции межпоколенческого опыта и ценностей (в оппозиции «старое поколение» – «нынешняя молодежь»). Удостоенные чести быть включенными в летопись завода-гиганта, с распадом советского строя и изменением мемориальной культуры они фактически лишились тех читателей, на которых рассчитывали, и в качестве авторов стали интересны только специалистам.

Говоря о втором корпусе наших источников, следует отметить, что влияние политического контекста и государственных структур считывалось потомками репрессированных при взаимодействии с текстами-стимулами, заключавшими в себе «дух эпохи». Охарактеризуем их более подробно. Авторы и адресаты следственного дела многообразны и часто неочевидны, несмотря на подпись под каждым конкретным документом. В следственных делах текстами, созданными самими подследственными, можно считать собственноручно написанные письма во власть, и – в меньшей степени – изложение автобиографии и пояснений по существу дела в протоколах допросов. Вообще же архивно-следственное дело репрессированного представляет собой сложносоставный текст, включающий разные по своему характеру, жанру и предназначению материалы: собранные под одной обложкой, сюда входят и делопроизводственные документы (постановления, протоколы и проч.), и документы смешанного характера (заявления и характеристики), и эго-документы (жалобы, иногда включающие достаточно объемные автобиографии, письма родственникам, письма во власть во время процесса реабилитации с описанием пережитого опыта, фотографии и т. д.), а также специфические дополнительные материалы, изъятые при обыске (паспорта, списки прихожан, крестильные свидетельства, рисунки и т. д.). Большая часть этих документов имеет строго делопроизводственный, то есть информационный характер, однако эмоциональные жанровые рамки писем, входящие в состав дела, более гибки. Под давлением тревоги за близких и привязанности к ним родственники пишут «во власть», зеркально используя элементы публичной риторики. Они либо создают «идеальный образ» арестованного родственника, либо помещают его в группу, интересы которой власть должна защищать. Так, в первом случае сын-студент в письме о пересмотре дела своей осужденной матери пишет «товарищу Берия»:

⁵ Например, адресация всего текста может быть выражена в виде метатекстового примечания в конце, а не в начале документа, написанная большими буквами, с отступом от текста воспоминаний: «Я бы хотел, чтобы наша нынешняя молодежь, признавала, в каких условиях трудилось старое поколение. А уральскими заводами Уралмаш и Уралгидромаш На которых проработал 36 лет я горжусь перед молодым поколением» (ГАСО, Белик 1983:11).

Я знаю, что мать моя человек *в высшей степени честный, скромный* в своих жизненных требованиях, *труженица в лучшем смысле* этого слова, *совершенно не способная* к каким бы то ни было действиям, связанным с *изменой* родины или с *заговором* против советской власти. *С утра до вечера она работала*, поддерживая своё существование и воспитывая меня (ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 23215, л. 34; курсив добавлен).

В другом случае сестра осужденной также обращается с просьбой о пересмотре дела к начальнику местного УНКВД:

[она] тяжело больная женщина, у ней хронический бруцелит, осложнившийся в тяжёлой форме на печень. . . У сестры моей двое детей которые находятся в детдоме в с. Колывахи, дети страшно тоскуют о матери надрывающая мне душу своими письмами (ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 24910/21925 (н), л. 26, 26об, 27).

То, что личные письма оказывались частью следственных дел, указывает на относительный характер границ между общественным и частным. Впрочем, сами подследственные в переписке воспроизводили эмоциональный профиль эпохи, сдержанно выражая чувства и делая исключение лишь для вводной и заключительной позиций, как, например, в этом письме матери к дочери:

Милая дорогая Нюлочка! Нет слов передать мою радость, когда я получила письмо и узнала, что у тебя. Спасибо за желание видеться со мной, но я *считаю это лишнее, лучше работай* это будет полезнее. . . Передай А. А. мою *глубокую признательность за внимание и заботу* обо мне. Всех крепко-крепко целую и приветствую. . . . Целую любимую, родную, *горячо крепко* твоя мама (ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 53196/2499 (к), л. 14–14об; курсив добавлен).

В целом же можно констатировать дефицит эмотивной лексики в делопроизводственных документах архивно-следственных дел. Это обстоятельство стимулирует действие компенсаторного механизма в текстах-реакциях: переживая определенный спектр эмоций при взаимодействии со следственным делом в настоящем, потомки «транслируют» часть эмоций в прошлое, заполняя эти лакуны.

Специфику архивного следственного дела для читателя-потомка можно описать через категорию «гипертекста», поскольку оно обладает некоторыми значимыми признаками такового: возможностью нелинейного чтения, внутренними связями и ссылками, соположенностью документов разнообразной природы, например, вербальных и визуальных (Nelson 1972:446–447). Это наблюдение имеет значение по следующей причине: несмотря на то, что в данном случае нам важнее образы и номинации, которые используют потомки подследственных, делясь опытом чтения дела, нельзя упускать из виду, что многочисленность интерпретаций материалов дела во многом обусловлена как раз особенностями гипертекста – способностью его частей к «пересборке».

Есть ли у архивно-следственного дела некий коллективный автор и кто он? Среди авторов конкретных документов – высшие должностные лица государства, олицетворяющие выстроенную ими государственную систему, сотрудники НКВД и другие исполнители принятых наверху решений⁶, авторы заявлений, свидетели, которые на допросах по поводу обвиняемого давали характеристики его самого и/или его деятельности; прокурорские работники и представители судебных органов, пересматривавшие дела для реабилитации. Особое место здесь занимает обвиняемый, которого информанты, ориентируясь на литературные образцы, именуют «героем дела». Однако до какой степени обвиняемый является автором своего дела? Особенность этой фигуры состоит в том, что субъектность – неотъемлемая черта «автора» – у подследственного размыта: с одной стороны, он участвовал в создании части документов дела (анкеты арестованного, протоколов допросов, жалоб, запросов о реабилитации и т. д.), проявляя собственную субъектность; с другой – условия были таковы, что его субъектность практически не играла роли, так как сценарий, в котором подследственный является «главным героем», был написан без него и за него.

основное впечатление моё в том, что братья, они продолжали. . . эээ. . . верить в то, что с ними происходит – это правосудие. Они не понимали и не верили, что это беззаконие. И на самом деле не важно, что они скажут, потому что они как бы уже отмечены в списках расстрельных (интервью 29, м, 4 поколение).

Множественность авторов коррелирует с множественностью адресатов различных документов следственного дела. Важно, что последние не были предназначены для публичности: ни для чтения современниками (кроме должностных лиц), ни для чтения потомками, то есть авторы, участвующие в создании этого гипертекста, за редким исключением, не читали текст дела целиком (впрочем, как и потомки осужденных, знакомившиеся с этими документами десятки лет спустя, судя по их признаниям в интервью). Таким образом, далеко не все материалы дела становятся текстами-стимулами для потомков.

Итак, изучаемые тексты уже на этапе своего создания не были «объективными». Их «документальность» изначально содержала оценочный компонент и была вписана в определенный жанр: либо летопись боевой и трудовой славы, либо подтверждения раскрытого «вредительства». Основная эмотивная лексика призвана поддержать и усилить эффективность текста-обвинения или текста-панегирика. Однако темпоральный и идеологический разрыв между авторами и адресатами/читателями превратили чтение этих документов в дешифровку или интерпретацию.

⁶ Имеются в виду члены «троек» НКВД, выносившие приговоры, руководство и сотрудники исправительно-трудовых лагерей и др.

ДЕШИФРОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОСЛАНИЯ

Ответы ветеранов-уралмашевцев на запрос работников музея можно представить своеобразной «капсулой времени», распечатанной спустя десятилетия, для понимания которой требуется труд дешифровщика: контекст послания сильно изменился, а знание «языка» перестало быть общим достоянием. Например, один из авторов завершает свои воспоминания развернутым описанием митинга по поводу запуска Московского метрополитена 15 мая 1935 года. Ветку метро открывал Лазарь Каганович, он же перерезал красную ленту, а автору с сыном повезло быть первыми пассажирами, однако нарратив не содержит эмотивной лексики. Ясно, что акцентная финальная позиция эпизода в тексте и личное свидетельство о первых лицах эпохи и ее достижениях – автор воспоминаний как раз изготавливал на Уралмаше чугунные тьюбинги для тоннелей – предполагает ожидаемую автором определенную реакцию читателей (ГАСО, Белик 1983:11). Между тем наш современник вряд ли испытает схожие с автором чувства гордости и удачи («везения») от самого факта соприсутствия с Кагановичем. Два временных лага – по полвека каждый – обеспечивают как минимум два интерпретационных сдвига: во-первых, сам автор вглядывается в свое прошлое полвека спустя (из восьмидесятых – в тридцатые, из юбилейного года – в точку начала, из старости – в молодость), а во-вторых, со времени написания воспоминаний прошло уже минимум полвека.

Знакомясь с человеком и «считывая» его эмоциональный профиль, мы стараемся получить ответ на вопрос «какой он?». Можем ли мы ответить на него, исходя из присланных в музей текстов? Как устроено «послание потомкам» от заводчан? Прежде всего отметим ограниченный регистр использованной ими эмотивной лексики: большинство упомянутых чувств относятся к позитивному регистру и отличаются высокой интенсивностью – радость, гордость, любовь и т. д. Надежда Макарова, анализируя эмоциональные режимы Магнитогорска эпохи индустриализации, выделяет спектр социально одобряемых эмоций советского дискурса, среди которых любознательность, послушание, уважение, сдержанность, любовь, дружба, гнев, энтузиазм, патриотизм, страх (2017:240)⁷. В материалах фонда УЗТМ, написанных людьми технических специальностей, этот спектр еще уже. В то же время воспоминания ветеранов-уралмашевцев не подтверждают противостояние «публичного» и «приватного» эмоциональных режимов (газетных воззваний и частной переписки соответственно), выявленное Макаровой, а представляют собой перетекание, сплав этих практик, где оба регистра оказываются редуцированными. Шейла Фицпатрик, размышляя об эмоциях предвоенных лет, пишет, что даже в дневниках способы выражения личностных эмоциональных переживаний определялись социальными конвенциями, и «это не значит, что такого рода эмоции не являются подлинными. У эмоций есть свой язык, и этому языку учатся» (Фицпатрик 2014:284). Рабочие Уралмаша – как раз

⁷ О том же, но в иной терминологии пишут Джонатан Тернер и Ян Стец: «Производственная организация с большей вероятностью активизирует моральные эмоции [«социально одобряемые» по Макаровой], чем альтернативные структуры, которые не объединяют и не координируют труд в высокой степени» (Turner and Stets 2006:550).

такая группа «прошедших обучение» письму «без отрыва от производства». Заводчане-пенсионеры в своих текстах часто создают образ труда, питающего своими эмоциями другие сферы жизни:

Главное – это то, что я всегда работал с удовольствием, радостно, я любил свой труд и людей, с которыми прожил всю жизнь и сейчас, когда я пенсионер, самый радостный для меня тот день, когда я среди своих старых соратников по труду, среди молодежи, которая с гордостью называет себя сварщиками (ГАСО, Яхнин 1980:3).

Как сами авторы обозначают и проговаривают причины редукции эмоциональной палитры пережитого?

Краткость вводной части. Введение – наиболее свободный в дискурсивном отношении период: новичок, только пришедший на завод, лишь овладевает «правильными реакциями», становясь «настоящим уралмашевцем». Начало трудовой биографии, представляя собой контраст с дальнейшим, может включать робость, удивление, страх и так далее, однако период становления обычно занимает не более пары предложений в начале текста:

В те годы, условия работы были *тяжелые* и сама жизнь *не завидной*. Жили в бараках, койки деревянные тапчаны, постель – древесная стружка. *Бывало и воды не хватало . . . так и ходили на работу неумывшись* (ГАСО, Белик 1983:7; курсив в оригинале).

Акцент на военных годах. С 1980-х годов сотрудники музея прицельно собирали воспоминания о Великой Отечественной войне, что обусловило вытеснение других периодов памятования. Процесс вытеснения облегчало то, что, с одной стороны, трудности войны действительно затмили проблемы предвоенных лет, с другой, это позволяло авторам не подбирать слова для «неудобного» прошлого (например, арестов на заводе), а прибегнуть к разработанному публицистикой языку. В свернутом виде типичное повествование могло звучать так:

Первые, довоенные годы не оставили у меня сильных впечатлений – это были годы моего становления или, точнее, мужания. Я прочувствовал важность своего труда, полюбил завод, поверил в силу товарищеского плеча – короче, стал уралмашевцем. Это были годы моей подготовки к тому большому, что потребовала наша Родина от всех своих сынов и дочерей после вероломного нападения фашистов (ГАСО, Яхнин 1980:1).

«Риторика скромности». Люди рабочих специальностей не привыкли (или опасались?) рассказывать о себе: написав 2–3 страницы официальной биографии, перечислив коллег и полученные на производстве награды, они заканчивали свои сообщения, стараясь избежать многословия: «Если описывать всю жизнь, весь путь, пройденный за эти годы, то будет очень много» (ГАСО, Яхнин 1980:3). Различий в этом плане между женскими и мужскими текстами немного (женские вообще составляют не более 10–12% общего массива воспоминаний ветеранов

завода УЗТМ); гораздо в большей степени «скромность» зависит от партийного и социального статуса.

Обращение к потомкам в финале текста. Заканчивая воспоминания, авторы обращаются к потенциальным читателям, максимально нагружая заключительные слова эмотивной лексикой. В конце текста они позволяют себе призывать, желать успехов («Я приветствую вашу инициативу о создании сборника и желаю вам больших успехов» (ГАСО, Бакиров б.д.:11)), воспевать («Участвуя в трех войнах, я не могу не сказать о русском Советском человеке Солдате который вынес тяжелые испытания на своих плечах, выполняя боевые задания и приказы родины, всегда прояв [sic!] отвагу и мужество! Уже такой русский человек! К сему Сомов. 18/II 77» (ГАСО, Сомов 1977:3)), но чаще всего – сожалеть о разъединении с коллективным «мы» («с большой любовью вспоминаю этот коллектив и с большой грустью вспоминаю уход на пенсию» (ГАСО, Анисеева 1983:13)). Устойчивая позиция «героя» предполагает допустимость даже сварливо-дидактического регистра: «Молодежь жалуется. То у них нет шахмат то нет лото. или плохо оборудован красный уголок. А ведь тогда строили на века. Все. А. М. Дерезглазов» (ГАСО, Дерезглазов б.д.:2).

Хорошее владение официальным стилем, напротив, обеспечивает гладкость изложения автобиографии, однако не дает приращения эмотивной лексики: воспроизводится некий одобренный эмоциональный режим повествования, которого уверенно придерживаются «старые большевики», партийные и комсомольские работники, начальство – то есть те, для кого рассказ о себе является привычной жизненной практикой. Их биография состоит из этапов, каждый из которых имеет официально признанное именование – «защищал подступы к колыбели революции», «направлен на должность», «ушел добровольцем на фронт», «работал до ухода на пенсию», «имею правительственные награды» и др. Подобный послужной список, как и полагалось, дополнялся несколькими эпизодами, иллюстрирующими личный опыт автора⁸. Такие эпизоды, как правило, комплементарны по отношению к образу автора; личные достоинства определяются в них через принадлежность к некоторому коллективному «мы», которому и адресована хвала. Например, в воспоминаниях участника трех войн Степана Сомова «разведчики действовали всегда смело и сообразительно» (автор – командир разведчиков в Гражданскую войну), эпизод с прорывом из окружения вместе с ранеными бойцами медсанбата подтверждает «выносливость советского солдата» (интересно, что не взаимопомощь, например); опасность упоминается только в отношении заботы о состоянии раненых – «чтобы не свалить с повозок раненых, да к тому же холод да их надо накормить» (ГАСО, Сомов 1977:2). Подробности, известные из рассказов внутрисемейного бытования, также не были включены в воспоминания (например, рассказ об экстренной трахеотомии в том же походе самого Сомова). Так, компетентные авторы воспоминаний⁹ в большинстве

⁸ Среди документов Фонда музея мы отмечаем следы правки рукописей: так, например, из воспоминаний упомянутого выше А. Яхнина, начальника полевой рембазы № 403, вычеркнут эпизод, где рембазовцы однажды выехали на «ремлетучке» в район, «якобы освобожденный от немцев», и попали в окружение, спасли их только танкисты (ГАСО, Яхнин 1980:2).

⁹ Компетентность Степана Сомова подтверждается его указанием на то, что до 1968 г. он «вел общественную работу по воспитанию молодежи и среди населения» (ГАСО, Сомов 1977:4).

случаев делают выбор в пользу эпизодов с коллективным *мы* и одобренным регистром чувств. Только прицельные изыскания обнаруживают в плотно сотканной письменной автобиографической канве место для документов (и эмоций), хранящихся в семейном архиве, но не упомянутых в «воспоминаниях». Например, Сомов в 1932 году в результате партийных «чисток» был исключен из членов ВКП(б), чему в семейном архиве хранится официальное подтверждение. Однако в тексте его автобиографии в музейных фондах за этот период читаем:

С 1923 по 1934 год работал в партийных и советских органах, в том числе 5 лет Секретарем РК Партии. С марта 1934 г. работал на УЗТМ, в августе 1935 г. избран депутатом Орджоникидзевского райсовета, где и работал зампределаителя исполкома и заврайфо (ГАСО, Сомов 1977:1).

Между тем не только семейная память закрыта для публичной презентации, но и наоборот: сын Степана Сомова узнал об общественной работе отца-лектора-агитатора только из документов фонда, прежде не интересовавшись этой стороной деятельности. Таким образом, потомки «героев-ветеранов», как и потомки «врагов народа», постоянно находятся в условиях неполноты источников и их специфического режима функционирования, в том числе эмоционального.

В описании трудностей былого авторы крайне сдержаны: ни ранняя смерть родителей, ни лишения, ни даже собственные травмы не выбивают текст из режима «перечисления фактов»:

Во время шабровки вкладыша подшипника, ходовой части экскаватора, у мостового крана оборвался трос и обойма с крюком упала на меня и так я остался с одной рукой и расколотым черепом головы. Признан медициной, вечным инвалидом (ГАСО, Белик 1983:10).

В начале 1980-х годов в тексты начинают проникать эпизоды, демонстрирующие смягчение самоцензуры, однако ни авторы текста, ни его герои не называют эмоции, предоставляя эту работу читателям:

Был случай линейный мастер работал на столбе, порвался ремень и он повис вниз головой держась на кошках, пока не примчалась пожарная машина с лестницей. Высокий смуглый с черными глазами не мальчик, а взрослый человек, потом говорил: что я пережил трудно передать (ГАСО, Аникеева 1968:3)¹⁰.

Как своеобразный эталонный текст ветерана-уралмашевца можно рассматривать воспоминания Билала Бакирова, награжденного орденом Ленина, «токаря цеха № 24», записанные в школьной тетради и адресованные «Парткому Уралмаш-завода. Председателю Совета ветеранов Д. Сидоровскому». Профессиональный

¹⁰ Ввиду ограниченного объема статьи оставляем читателям выбор гипотез относительно того, на каком этапе произошла редукция вполне реконструируемых здесь эмотивных проявлений: на этапе рассказа «потерпевшего» молодой девушке (ныне – автору), тогда как в пересказах приятелям, возможно, его чувства находили словесное выражение? Или уже на этапе создания текста ветераном, из-за внутренней цензуры скомкавшей рассказ о чудесном спасении?

рост и становление Бакирова, уроженца маленькой башкирской деревни, судя по тексту, целиком были связаны с Уралмашзаводом, цеха которого он строил, а затем в них и работал. Бакиров выучил русский язык уже взрослым, и в этом смысле созданный им текст являет нам дисциплинирующее начало социально одобряемого дискурса. В своих воспоминаниях Бакиров, оставаясь верным фактографии жизненного пути, наделяет эмоциональными комментариями («очень хотел») только то, что выделяет его среди других: не раннее сиротство (для 1920-х годов это обыденность), но мечту уехать из деревни («Я очень хотел поехать куда-нибудь посмотреть города, поездить по железной дороге, покататься на пароходе, хотя я их никогда не видел» (ГАСО, Бакиров б.д.:4)); не описание труда землекопа – широко распространенной на тот момент профессии, но тягу к освоению «очень большого станка» («Я очень хотел научиться побыстрее и работать самостоятельно. Но мой учитель не всегда мне доверял» (7)). Фрустрирующие ситуации «свернуты» до знаков, сам факт включения эпизода в итоговый автобиографический текст – свидетельство эмоциональной наполненности той ситуации для автора.

Участие в военном конфликте на Халхин-Голе уложилось в три предложения, и только знание о том, что в стрессовой ситуации даты и время событий запечатлеваются в памяти надолго (см. об этом, например, McGaugh 2003; Payne et al. 2004; Reisberg and Neuer 2004), маркирует эту отлучку с производства как судьбоносную: «В 1939 году, 14 июля внезапно меня вызвали в военкомат и дали 30 минут для того чтобы собрать вещи и явиться» (ГАСО, Бакиров б.д.:7).

Высокий эмоциональный регистр в биографическом повествовании токаря-орденоносца Бакирова относится только к фигуре Ленина («Владимир Ильич Ленин мечтал об освоении богатств Урала и Сибири, что мы и делали. Дела Ленина претворяются в жизнь» (ГАСО, Бакиров б.д.:10)) и «героическому пути комсомола». Завершая текст (автору 58 лет, он успешно трудится, но чувствует усталость), в горизонт личного будущего Бакиров помещает фигуру Ленина, о котором впервые услышал в детстве на митинге в башкирской деревне: «Теперь я готовлюсь достойно встретить 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (11). Так образ Ленина придает биографически-дело-производственному нарративу уралмашевца выразительность композиции рондо.

Итак, в большинстве случаев ветераны Уралмаша, вглядываясь в собственное прошлое, выступают как свидетели коллективного, адресуя эмотивную лексику социально одобряемым объектам (Ленину, рабочему коллективу, станкам и др.). Собственные переживания в их нарративах либо представлены как целиком совпадающие с коллективными, либо опущены в связи с тем, что породивший их контекст кажется общим, не требующим пояснений.

Далее перейдем ко второму корпусу источников и обсудим еще один сюжет нашего исследования. Смена исторической эпохи привела к открытию архивно-следственных дел для более широкого круга «читателей», и сегодня основными нарраторами для исследователя выступают потомки жертв политических репрессий. Как правило, это внуки и правнуки репрессированных, которые, не имея возможности узнать что-либо о предках из коммуникативной памяти внутри семьи, ищут другие способы найти о них информацию и обращаются к архивно-следственным делам, хранящимся в ведомственных или государственных архивах.

Следственное дело обычно выглядит как папка, под обложкой которой собран корпус машинописных и рукописных листов с подшитыми документами и фотографиями. Возможно, поэтому информанты в своих интервью часто прибегают к образу книги: «фантастическая книга», «книжка с фактами 1937 года», «как книжку когда читаешь», «история судьбы человека – его приключений или злоключений трагических». Современный читатель-потомок подходит к делу с собственными ожиданиями и поиском ответов на вопрос: какие сообщения вкладывали авторы «книги» («множественные акторы») и кому они адресовались, опуская служебные надобности? Что все это может сказать о конкретном человеке – их родственнике – и в целом о той эпохе?

Одна из целей биографического нарратива – презентация цельного образа личности на всем протяжении ее жизни. В этом аспекте особое место в архивно-следственном деле занимает анкета арестованного и протоколы его допроса/-ов, в наибольшей мере привлекающие потомков-читателей. Для них эти документы составляют «нерв», «сердце» текста-стимула.

Можно предположить, что задача ключевых авторов (следователей НКВД), создающих итоговую «книгу жизни» подследственного, состояла в том, чтобы составить «кривую» биографию героя (священник, кулак, шпион, контрреволюционер и т. д.), не вписывающуюся в принятые тогда представления о благонадежном гражданине Советского Союза и дающую основания для применения к нему репрессивных мер. Собственно, в этом и есть суть подобных «биографических сообщений» следственной части текста для адресатов-современников.

Авторы более поздней, реабилитационной, части «текста» не занимались переписыванием биографии героя, но признавали ошибочными некоторые факты из нее и их прежние трактовки, то есть исправляли не саму биографию, а придаваемые ей смыслы. Новое «прочтение» удостоверялось соответствующими документами, констатирующими: «дело прекращено за отсутствием состава преступления». С какой позиции, погружаясь в чтение архивно-следственного дела, все это видит и воспринимает потомок-читатель?

Восстановленная биография предка и сам процесс, ведущий к этому, становятся частью автобиографии потомка – *автоноэзиса* – со всеми присущими ей характеристиками и чертами, в том числе «интенсивной эмоциональной насыщенностью» (Нуркова 2010:80). Читатель-потомок ищет «родственника», «предка», чтобы «узнать его» и узнать в нем себя.

При взаимодействии с архивно-следственным делом читатели-потомки ищут ответы на чувствительные для них в отношении «родного человека» вопросы: что делал / не делал их предок, в каких условиях он находился и принимал решения, какой он был. Особенно важными при этом становятся «знаки личного», порождающие эмоции у самих читателей и позволяющие им «прочитать» эмоции героя следственного дела (либо надеть его ими через свою интерпретацию). Наибольший эмоциональный отклик вызывают собственная телесность читателя (телесные реакции на ожидание и процесс взаимодействия с архивно-следственным делом), чтение «между строк» (подпись, почерк, фотографии и т. д.), интерпретации фактов, отраженных в деле (признал ли себя виновным, оговорил ли кого-то,

как отвечал на вопросы и т. д.). Таким образом, потомки пытаются заново сконструировать биографию своего предка, используя составленный до них текст, но наполняя его иными смыслами.

Анализ интервью с информантами показывает, что для читателей-потомков характерны усиление сензитивности и телесная дестабилизация еще на этапе ожидания получения дела для ознакомления, сохраняющаяся на протяжении всего времени чтения документа: «у меня прямо руки задрожали. . . прям руки тряслись от волнения», «вздрогнула на прочтении сведений о семье», «ощущение, что меня ударили чем-то очень тяжелым по голове», «сердце затрепетало», «у меня схватил живот», «у меня шумело в ушах, разболелась голова» и т. д. В стремлении найти свидетельства, которые не могут обмануть, увидеть скрытое, неочевидное, потомки обращают внимание на документальные свидетельства о своем предке: фотографии (лица), почерк/подпись, личные документы.

Для потомков чрезвычайно важным оказывается зрительный образ и очень болезненно переживается его отсутствие как невозможность полноценно включить предка в семейную историю, «вернуть обратно в семью»:

Мы очень хотели увидеть фотографии их. Мы не знаем их лиц. Причём, я не видела ни одного дедушки, ни одной бабушки ни с одной стороны. И вот там профсоюзный билет был – в идеальном состоянии был – я его открываю – и там нет фотографии. . . И вот это вот чувство, какого-то вот отчаяния, что ты не можешь познакомиться со своими родными. Вот просто даже увидеть, как они выглядели (интервью 8, ж, 3 поколение).

такие ужасы они пережили – бабушка с дедушкой. . . и вот советская власть она полностью этих людей уничтожила – не осталось никаких фотографий, совсем ничего не осталось - как они жили, как они выглядели (интервью 7, м, 4 поколение).

Фотография мыслится информантами как неопровержимое доказательство/свидетельство родства. Если ее нет, невозможно обнаружить визуальное сходство, а значит, нет доказательства, которое можно предъявить, в том числе самому себе. Кроме того, фотография важна возможностью «посмотреть в глаза», словно всматривание, взглядывание в лицо, в глаза способно помочь постичь душу, жизнь и судьбу предка, понять его и распознать себя в нем.

Особое внимание читатели-потомки обращают на то, что можно прочесть «между/поверх строк», а также через почерк и подпись. «Дрожащий», «кривой», «твёрдый», «красивый», «исковерканный» почерк – часто единственный след родственника, который потомки находят в архивно-следственном деле и трактуют его как аллегорию последнего послания, характера или судьбы своего предка, свидетельство того, что он действительно был, существовал:

у него там два письма при перерасследовании – *одно очень хорошим почерком*, он был бухгалтером, а *второе уже плохим почерком* – можно понять, что он был на тяжёлых работах там, вот. . . так что. . . вот. . . ну вот это да. . . да. . . (интервью 4, ж, 4 поколение; курсив добавлен).

там есть подписи в начале дела, *когда начинали допрос* и там как бы видно, что *подпись чёткая, красивая, нормально подписано*, а вот уже *после допроса – там уже реально изломанной рукой* как будто (интервью 7, м, 4 поколение; курсив добавлен).

И я увидела вот этот почерк дрожащей рукой, и я поняла, что их там пытали, что они сами себе подписали этот приговор. Что меня больше всего потрясло, это вот этот вот – вот этот *нервный почерк* (интервью 8, ж, 3 поколение; курсив добавлен).

Документ, изъятый при аресте и вложенный в архивно-следственное дело, также трактуется потомками как свидетельство подлинности существования предка и тактильно опосредованная связь с ним:

я держу в руках документ, который сто лет назад в руках держал он – это было прям вау-ощущение (интервью 3, ж, 4 поколение).

крутое было осознание, что пусть это не оригиналы, копии, но те самые там документы – которые свидетели этих страшных событий, им там. . . по 70 лет. . . Это *отдельная эмоция, что они написаны на особой бумаге – вот эта тёмная, пером. . . Соприкосновение с прошлым очень ощутимое* (интервью 2, ж, 4 поколение; курсив добавлен).

Итак, в нарративе героя (первостроителя Уралмаша, участника трех войн и др.) выражение эмоций подвергается редукции: за счет эксплуатации одного регистра и в силу представлений об универсализации контекста для автора и читателей. Сложные эмоциональные комплексы если и попадают в текст, то в виде свернутых «знаков». Читатель же следственного дела, потомок «жертвы» или «антигероя», находится в ситуации переинтерпретации – эмотивная лексика, используемая в документах дела, им учитывается, но истолковывается «в пользу» предка, причем значимым актором этой интерпретации является вся телесная сензитивность читателя-потомка.

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ КОНТЕКСТА И «ПРОТЕЗНАЯ ПАМЯТЬ»

Если читателям следственного дела приходится выполнять интерпретацию текста в новом контексте на основании неполных данных и/или данных, достоверность которых меняется в их глазах от документа к документу (изменение почерка часто оказывается значимее содержания этих бумаг), то авторы-уралмашевцы в воспоминаниях сами осуществляют автокоммуникативное «челночное движение» между «тогда» и «сейчас».

«Сейчас», безусловно, лучше «тогда» в материалах фонда. Это верно и для контраста «царской России» и строек первой пятилетки, и для современности (1960–1980-х годов) в сравнении с трудностями пуска завода. Однако эмоции с трудом проникают в нарративы первостроителей, даже самых «говорливых», включающих в повествование приключенческие эпизоды. Эмоционально нагру-

женная ситуация зачастую фиксируется ими через удержание в памяти мельчайших деталей: опасности при похищении патронов у петлюровцев – через подаренный «складной ножик» и извлеченную из ноги «пулю японского производства» (ГАСО, Белик 1983:2–3); гордость за свой труд – через награду в виде хромовых сапог и «бесплатной фотографии прямо в поле»; привязанность к «экскаватору марки Норд-вест» – через эпизод о сломанном «пальце» цепи Галля и разорванной «американской щечке» любимой машины (4–6).

Те, кто в результате остался работать на Уралмаше, предстают в воспоминаниях людьми, сделавшими безупречный выбор – не только профессиональный, но и моральный (из 14 человек, окончивших курсы экскаваторщиков, 12 «разбежались в течение одного месяца. Осталось только два смелых экскаваторщика» (ГАСО, Белик 1983:5)). Таким образом, даже рядовая деятельность на строительстве завода-гиганта окрашена гордостью: будущие первостроители оказались в правильное время в правильном месте – у истоков завода, которым гордится вся страна, и все, кто «копал землю», «возводил цеха» и тому подобное, заслужили место в книге памяти.

Обращаясь к «молодежи будущего», ветераны не раскрывают контексты, объединяющие «своих» (поколенческий, профессиональный, локальный), вовне. Многие эмоции, не проговоренные в свое время, игнорируемые, «теряются» и в воспоминаниях пишущего. Не названные по имени, чувства присутствуют в описываемых заводчанами ситуациях (работы без отдыха, аварий, несчастных случаев, кризисов, соревнований и др.), но уже не могут быть восстановлены нами с уверенностью и более детализированно.

Взаимодействие с собственным прошлым оказывается непростой задачей для авторов многих материалов фонда. В текстах для музея уралмашевцы вглядываются в самих себя – молодых, неопытных, сильных – и часто удивляются тому, что было в их жизни («когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим»¹¹). Возникает искушение использовать в качестве доступного «медиатора» стихи, песни или фильмы о прошлом. В воспоминаниях Натальи Рожиной, весь текст которой сопротивляется пристальному вниманию к собственной персоне («Ну о себе неудобно писать. Никаких я подвигов не сделала не чем не награждалась, работала в бригаде как и все всю войну» (ГАСО, Рожина б.д.:7)), отчетливо просматривается процесс замещения собственных воспоминаний предложенными профессионалами словами. Профессиональные тексты и визуальные образы первоначально используются автором «для собственных нужд», интериоризируются и лишь затем помещаются в автобиографический текст («Это не я сочиняла, но сами в голову лезут, до чего правдивы слова» (6)). Фигура Серго Орджоникидзе, чей памятник был установлен у центральной проходной УЗТМ только в 1955 году, становится для нее носителем и блюстителем памяти о Великой Отечественной войне: «Стоит Серго на п’едестале / и словно видит сквозь года / Какими мы сегодня стали / Какие были мы тогда» (6).

¹¹ Цитата из песни Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал» (1970; реж. Андрей Смирнов).

Вместе с красотой высказывания и расширением видения (вместо ее заводского участка по набивке «пальцев» к колесам – пространство от Урала до Берлина) автор принимает и «чужую память», отказываясь от «мук творчества» в поисках собственных слов и не воспринимая это как потерю. О такой «протезной» памяти можно говорить и на примере других источников – следственных дел. Под «протезной памятью» Элисон Ландсберг понимает «воспоминания людей о прошлом, в котором они не жили», но «включили в свой архив опыта» благодаря массовой культуре и иным культурным механизмам, которые позволяют отдельные воспоминания, принадлежащие другим, сделать доступными для всех (Landsberg 2004:8) – через аффект, драматизирование, эмоциональное проживание «события или прошлого, не проживая его на самом деле» (47).

Одним из таких культурных механизмов «проживания не своего опыта» является взаимодействие потомков с архивно-следственными делами своих предков. Сильную эмоциональную реакцию и стремление к (ре)конструкции эмоций и личности предка у читателей-потомков вызывает поведение родственника на допросе. Самыми острыми и чувствительными моментами, характеризующимися сгущением эмоциональной интенсивности в нарративах большей части информантов, были два сюжета: признал ли предок себя виновным или нет, и оговорил ли он кого-то или нет.

При чтении архивно-следственного дела потомки находятся в двойной позиции. С одной стороны, многие сразу заявляют, что им было неважно, признал ли предок свою вину, поскольку, как правило, изначальная установка потомков состоит в утверждении невинности родственников:

я почему-то сразу была на его стороне [. . .] почему-то я сразу думала, что он хороший (интервью 3, ж, 4 поколение).

я принципиально знал и для себя давно решил в тот момент, что это всё фабрикация и не имеет никакого отношения [. . .] То есть. . . Нет. . . Это всё невинно погибшие осуждённые люди. Вот для меня это было внутреннее решение (интервью 17, м, 4 поколение).

когда я шёл [в архив], для меня это было неважно, потому что у меня была уверенность, что они невиновны. А если они признаются, это значит, что из них эти показания выбили (интервью 16, м, 4 поколение).

Это подкрепляется тем, что если предок был реабилитирован, то факт признания его невинности уже состоялся:

нет, не имеет значения. Ну во-первых, все эти люди – они уже реабилитированы. . . (интервью 15, ж, 4 поколение, исследователь).

С другой стороны, поведение предка на допросе осознавалось чувствительным потому, что было связанным с проявлением его человеческих качеств – стойкости, силы духа и так далее:

это что-то про честность, что он сам с собой, я надеюсь, был честен, и что для него было важно, что он не делал того, в чём его обвиняли (интервью 5, ж, 4 поколение, не родственник).

для меня это. . . некий моральный бонус. Мне не особо важно это было, но мне было приятно осознать, что этот человек до конца смог отстоять свою позицию перед следователем и что он как бы не признался. . . не подписал того, что ему дали. . . остался верен себе. Вот это. . . заставило испытать гордость за этого человека, который не признался (интервью 13, м, 5 поколение).

То же касается и вопроса об оговоре, который для читателей-потомков становился ценностно важным и смыслоориентирующим:

это, наверное, про какую-то стойкость и веру в свою невиновность. Очень, мне кажется, на самом деле, тяжело осознать, что ты сам себя оболгал, ещё и чужих оболгал, да и. . . (интервью 4, ж, 4 поколение).

для меня это было неважно – признался он или не признался. [. . .] Горжусь, что он никого не оговорил, не потащил за собой, что у него дети порядочные – а это всё-таки закладывается в детстве. Вот (интервью 20, ж, 4 поколение).

Анализ нарративов читателей-потомков показывает, что стойкость и сила духа родственников переосмысливаются некоторыми из них в категориях *героического*: позиция жертвы дополняется интонациями стойкости, силы воли, умения радоваться самому малому и жить/выживать даже в самых жутких условиях (интервью 27, ж, 4 поколение). При этом сами понятия «героя» и «героического» некоторыми информантами отрицаются как слишком общие, уже апроприированные государством и неуместные в семейных нарративах как «высокий штиль» (интервью 29, м, 4 поколение). Некоторая героизация репрессированных предков через проявление важных для информантов личностных качеств проявляется не только в моментах признания/непризнания на допросе, но и через косвенные свидетельства лагерной жизни:

Там [в документах] было написано с [19]29 по [19]54 год [был в лагерях], то есть стало быть – ну, по той информации, которая есть в открытых источниках, – очень много людей умирало, их убивали, они умирали в голоде и в холоде. . . Стало быть, если человек выживал столько времени. . . он находил, видимо, в себе силы за счёт чего-то выживать, что-то его удерживало от того, чтобы пасть духом (интервью 15, ж, 4 поколение, исследователь).

Таким образом, читатель-потомок переконструирует представленную следственным делом биографию своего родственника. Опираясь на те же факты, читая между строк, разглядывая почерк, он интерпретирует материалы дела по-своему, рассказывая «кривую», «неправильную» биографию как достойную: в «запирательстве» и «непризнании» видит стойкость; в «признании» – следствие методов физического воздействия сотрудников НКВД на арестованного и необходимость сочувствия ему; в уходе от провокационных вопросов – адекватность и ум (интер-

вью 29, м, 4 поколение). Рассказать биографию предка по-другому оказывается важным – вероятно потому, что, включенная в нарратив потомка, она становится частью его собственной автобиографии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архивные документы музеев и материалы следственных дел – специфичные хранители памяти, требующие определенных навыков интерпретации. Самостоятельно написать и представить автобиографию или воспоминания – роскошь, доступная немногим. Одна из важнейших задач автобиографической памяти – на основе разнообразных ресурсов создавать положительную самопрезентацию. В советское время память множества людей могла быть зафиксирована либо на этапе выхода на пенсию на большом предприятии, где в ведомственном музее шла работа по сбору воспоминаний, либо в связи с интересом к ним органов правопорядка, причем в некоторые десятилетия отечественной истории момент фиксации в биографии каждого отдельного человека оказывался делом случая. Таким же образом автобиографический нарратив работает и для наших современников. Эта позитивная устремленность автобиографической памяти, использующей временные дистанции как ресурс, позволяющий безболезненно переконфигурировать детали и обстоятельства, объединяет всех акторов нашего исследования – и тех, кто пишет о себе спустя десятилетия, и тех, кто «находит часть себя» на страницах следственных дел родственников.

Текущий эмоциональный режим неизбежно влияет на производство нарратива автобиографической памяти. Выход из дихотомии – «препятствует» режим или «помогает» рассказчику – позволяет обратить внимание на неоднородность предписываемого разным группам населения в одну и ту же эпоху, а также на необходимость расширения интерпретационных инструментов для потомков, обращающихся к источникам советского времени, но уже покинувших этот эмоциональный режим и утративших непосредственную коммуникативную реакцию на ее эмотивы.

Анализируемые в статье материалы позволяют уточнить наши знания о том, как выстраивают автобиографическое повествование люди, погруженные в свою эпоху. Биографии ветеранов-первостроителей и передовиков производства ограничены по спектру положительных эмоций и чувств, связанных с определенными объектами; негативные эмоции еще более дискурсивно закреплены и редки. В трудовых биографиях пишущие остаются в рамках официальной фактографии, не забывая соединять свои деяния с «мы» трудового коллектива. Чем выше ситуация публичности, тем более склонны они прибегать к помощи разнообразных «вспомогательных средств»: от освоенных жанров делопроизводственной и житейской автобиографии до использования эмотивов публичного дискурса. «Всплески» эмоциональности индивидуальной памяти редки и в целом укладываются в социально одобряемую рамку. Все это ставит вопрос о необходимости согласования индивидуальных воспоминаний с коллективной памятью. Частично этот вопрос уже решается актерами в течение всей жизни, ведь память успешных людей постоянно «подстраивается», следуя логике социального конформизма. Однако для

создания «итогового текста» часть из них прибегает к образцам, расширяющим индивидуальную рамку, – стихам, песням, фильмам, очеркам, но на деле настолько же и «подменяющим» индивидуальное коллективным, или «протезным» в широком смысле слова, особенно соблазнительным для людей с малым опытом само-рефлексии и письма.

Задача следственного дела – сформировать биографию «антигероя», выявить социально-биографическую подоплеку «вредительства», уже на этапе следствия задействуя суггестивную эмотивную лексику («когда и кем вы были завербованы?» и т. п.). «Услуги» «протезной памяти» оказываются также необходимы их потомкам при выстраивании автобиографического повествования, включающего истории репрессированных предков. Содержимое архивно-следственного дела своей подлинностью и материальностью провоцирует телесные реакции, а дефицитом эмоциональности стимулирует яркие переживания в ответ. Можно предположить, что потомкам нужны тексты-стимулы, с одной стороны, как способ прикоснуться к личному и личности предка поверх/сквозь доминировавший эмоциональный режим эпохи, с другой – буквальное прочтение и прикосновение к аутентичным документам, бумаге, чернилам и т. п. позволяет вживую встретиться с фактурой эпохи, ощутить ее «дух», что-то понять для себя про государственную систему и бытовавшие нормы в прошлом. Телесные реакции потомка на текст-стимул и рассказ о них оказываются важнейшим результатом физического соприкосновения с архивными документами и перформативно формируют стойкую эмоциональную память об этом на годы вперед. Телесное проживание «встречи» с образом предка становится для потомков эффективным способом интеграции «пропавшего» члена в генеалогическое древо семьи.

Предложенная нами соположенность документов разных эпох, соединенных концептуальной рамкой «автобиографической памяти» и находящихся в отношениях диагональной диахронической симметрии (герой/антигерой; участник событий / потомок; близкое/далекое прошлое), помогает обнаружить новые ракурсы в изучении взаимодействия читателя с текстом, повествующем о собственном (героическом) прошлом или (трагическом) прошлом предка. Три временные точки – 1930-е (время великих строек и массовых политических репрессий), 1960–1980-е (массовые меморативные тексты от актеров и очевидцев эпохи) и 2010–2020-е годы (всплеск семейно-биографических нарративов) – неоднородно и несимметрично заполнены материалами. Потенциально эффективным видится соположение доступных документов и изучение возможностей заполнения обнаруженных лакун (суть метода схожа с тем, что производят нейросети при недостатке информации). В качестве массовых образцов в распоряжении исследователей оказываются фрагменты архивно-следственных дел репрессированных и интервью с их потомками, однако почти отсутствуют автобиографии самих репрессированных, написанные ими в 1960–1980-е годы. В случае имеющихся автобиографий ветеранов Уралмаша, написанных по призыву парткома завода и музея, в большинстве случаев мы лишь гипотетически можем представить, какие тексты служили стимулами и образцами для авторов. Хотя режим «трепета гордости» их потомков второго поколения закреплен эпохой, это не помешало покрыть-

ся пылью многим заводским музеям страны. Более того, для каждой из выбранных групп какое-то время работала логика «исключения» из публичного поля, также диктуемая эпохой: о репрессированных предках не упоминали вплоть до 1990-х годов, а рубежные десятилетия XX–XXI веков сделали непопулярными разговоры о советских ветеранах производства.

Исследование эмоциональной составляющей памяти на предложенном материале показывает, что «чувственный опыт» (авто)биографического нарратива может быть получен как через ресурсы (авто)коммуникативной памяти (Нуркова 2000:24), так и через практики «культурной памяти», когда стимулирование воображения и «провоцирование» эмоций происходит как реакция на текст-документ эпохи, обретающий для потомка личностный смысл и становящийся частью его (авто)биографического нарратива. Побудительная сила эмотивов, движущая предками (ветеранами, откликнувшимися на призыв; работниками госорганов, осуществлявшими «чистки»; людьми, пишущими «во власть» и «для будущего»), не напрямую передается потомкам. Переходя в «спящий», латентный режим, эмотивы ждут своего времени и могут быть «активированы» ресурсами культурной памяти и снова стать личной побудительной силой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ассман, Аллейда. 2014. *Длинная тень прошлого*. М.: Новое литературное обозрение.
- Бабенко, Людмила. 2021. *Алфавит эмоций: Словарь-тезаурус эмотивной лексики*. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый.
- Брубейкер, Роджерс. 2012. *Этничность без групп*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Зорин, Андрей. 2016. «Понятие литературного переживания» и конструкция психологического протонарратива: история и повествование». С. 12–27 в *История и повествование: Сборник статей*, под ред. Геннадия Обатнина и Пекка Песонена. М.: Новое литературное обозрение.
- Енина, Лидия. 2016. «Идентичность как дискурсивный концепт и механизмы дискурсивной идентификации». *Политическая лингвистика* 6:159–167.
- Енина, Лидия и Наталья Граматчикова. 2021. *Первостроители Уралмаша как перформативный проект: конструирование заводской идентичности*. Екатеринбург: Кабинетный ученый.
- Ильин, Евгений. 2001. *Эмоции и чувства*. СПб.: Питер.
- Макарова, Надежда. 2017. «Эмоциональный режим эпохи форсированной индустриализации (по материалам Магнитогорска)». *Диалог со временем* 60:238–256.
- Мельникова, Ольга и Екатерина Кутковая. 2014. «Дискурсивный подход к исследованию идентичности». *Вестник Московского университета Сер. 14. Психология* 1:59–71.
- Нуркова, Вероника. 2000. *Свершённое продолжается: Психология автобиографической памяти личности*. М.: Изд-во УРАО.
- Нуркова, Вероника. 2010. «Автобиографическая память в оптике культурно-исторической и деятельностной методологии». *Психология. Журнал Высшей школы экономики* 2(7):64–82.
- Сандомирская, Ирина. 2002. *Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик*. Вена; Мюнхен: Wiener Slawistischer Almanach.
- Фицпатрик, Шейла. 2014. «Счастье и тоска: исторический очерк о выражении эмоций в предвоенной России (фрагменты)». *Политическая лингвистика* 1:284–288.
- Landsberg, Alison. 2004. *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. New York: Columbia University Press.
- McGaugh, James L. 2003. *Memory and Emotion: The Making of Lasting Memories*. New York: Columbia University Press.

- Nelson, Theodor H. 1972. "As We Will Think." Pp. 439–454 in *Online 72: Conference Proceedings*, vol. 1. Uxbridge, UK: Online Computer Systems Ltd.
- Payne, Jessica D., Lynn Nadel, Willoughby B. Britton, and W. Jake Jacobs. 2004. "The Biopsychology of Trauma and Memory." Pp. 76–128 in *Memory and Emotion*, edited by Daniel Reisberg and Paula Hertel. New York: Oxford University Press.
- Reddy, William M. 2004. *The Navigation of Feeling: A Framework for History of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reisberg, Daniel, and Friderike Heuer. 2004. "Memory for Emotional Events." Pp. 3–41 in *Memory and Emotion*, edited by Daniel Reisberg and Paula Hertel. New York: Oxford University Press.
- Turner, Jonathan H., and Jan E. Stets. 2006. "Moral Emotions." Pp. 544–566 in *Handbook of the Sociology of Emotions*, edited by Jan E. Stets and Jonathan H. Turner. New York: Springer.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Государственный архив административных органов Свердловской области (ГАОСО), фонд Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области».
- Государственный архив Свердловской области (ГАСО), фонд Р-2910 «Воспоминания работников Уралмашзавода Музея истории Уралмашзавода», оп. 1. (1945–2010). Среди них:
- Аникеева М. С. 1968. Воспоминания. Рукопись, 13 с.
- Аникеева М. С. 1983. Воспоминания Аникеевой Марии Семеновны. Рукопись, 4 с.
- Бакиров Б. У. Воспоминания о жизни, о строительстве и работе на Уралмашзаводе. Б.д. Рукопись, 7 с. №18.
- Белик В. П. 1983. Воспоминания о жизни об освобождении Украины от власти Петлюры С. В., о строительстве Уралмашзавода. Рукопись, 7 с. № 35.
- Герчиков С. Б. Без названия. Б.д. Рукопись, 2 с. В папке Яхнина А. Л. № 267.
- Дереглазов А. М. Письма Виктору Николаевичу [Анфимову]. Б.д. Рукопись, 2 с. № 76.
- Рожина Н. С. Ударная работа фронтовой бригады цеха № 34 в годы Великой Отечественной войны. Б.д. Рукопись, 4 с. № 195.
- Собанцев Д. Я. Без названия. Б.д. Машинопись, 1 с. В папке Яхнина А. Л. № 267.
- Сомов С. Н. 1977. Как я стал членом коммунистической партии. Рукопись, 3 с. № 221.
- Яхин А. Л. 1980. Воспоминание о работе в полевой ремонтной базе № 3 (г. Жданов). Рукопись, машинопись с рукописными правками, 13 с. № 267.

СПИСОК ИНТЕРВЬЮ

В статье были процитированы следующие интервью из архива автора (номер в архиве, пол, поколение от репрессированного родственника, год проведения интервью, при необходимости – дополнительные данные):

- 2 – женщина, 4 поколение, родственник, 2021
- 3 – женщина, 4 поколение, родственник, 2021
- 4 – женщина, 4 поколение, родственник, 2021
- 5 – женщина, 4 поколение по возрасту, не родственник, 2021
- 7 – мужчина, 4 поколение, родственник, 2021
- 8 – женщина, 3 поколение, родственник, 2021
- 13 – мужчина, 5 поколение, родственник, 2022
- 15 – женщина, 4 поколение, родственник, профессиональный исследователь, 2022
- 16 – мужчина, 4 поколение, родственник, 2022
- 17 – мужчина, 4 поколение, родственник, 2022
- 20 – женщина, 4 поколение, родственник, 2022
- 27 – женщина, 4 поколение, родственник, 2022
- 29 – мужчина, 4 поколение, родственник, 2022

EMOTIONAL MODES OF AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY: HEROES AND VICTIMS OF DIFFERENT GENERATIONS

Natalia Gramatchikova, Yulia Zevako

Natalia Gramatchikova, Center for the History of Literature, Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. n.gramatchikova@gmail.com.

Yulia Zevako, Laboratory for Interdisciplinary Research in Humanities, Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. zevakojulia@gmail.com.

The authors of this article share an interest in the emotional component of memory present in documentary evidence of the Soviet era and memoir narratives about it. The polarized reception of the historical context of the 1930–1980s led to the fact that the memory about heroes and “antiheroes” is recorded in two different types of archival materials, which in practice could be recording different stages of the same person’s life. Focusing on the concept of autobiographical memory, the authors of the article propose to consider through the categories of emotives the archival heritage of veterans of the era of industrialization and the reception of materials from criminal cases from the era of the Great Terror. The study draws on a collection of memoirs by veterans of a machine-building plant about the time of their youth and their contribution to the construction of the plant in 1929–1933 and on a corpus of semistructured interviews with the descendants of the repressed who had had a chance to examine their ancestors’ investigative cases. The research goal was to analyze, on the one hand, how the emotional modes of composition of the documents in the 1930s and in the 1960s–1980s affect the transmission of memory about the 1930s and, on the other hand, how the actors of intergenerational transmission deal with the polarized memorative context. The study comes to the conclusion that already at the stage of their composition, documents and ego documents of the Soviet era limited the emotional palette of the writer and that memoirs by the industrialization-era workers were conditioned by their genre no less than were the texts of criminal cases. The change of historical context and the loss of the intended reader of both types of documents create the need for interpretive work for our contemporaries. Analysis of the memoirs reveals some nonobvious causes of emotional reduction as well as the freest compositional positions for expressing emotions. During interviews the descendants of the repressed, faced with a lack of emotionality in the texts of criminal cases and positioning themselves to resist the affective style of interrogations and denunciations, talk about their bodily involvement in communication with the artifact that helps them experience empathy toward their relative. The authors conclude that Alison Landsberg’s concept of prosthetic memory is useful for autobiographical narratives about both “heroes” and “enemies.” The juxtaposition of documents from different eras, united by the frame of autobiographical memory, shows that “affective experience” of an (auto)biographical narrative can be obtained both through

the resources of (auto)communicative memory, when the subject retrospectively comprehends their own life experience, and through the mechanisms of cultural memory—by stimulating imagination and emotions as a reaction to a “document of the epoch,” thanks to which the latter is endowed with personal meaning.

Keywords: Autobiography; Criminal Cases; Ego Documents; Memoires; Memory; Emotions; Repressions; Veterans; Victims; Heroes

REFERENCES

- Assmann, Aleida. 2014. *Dlinnaia ten' proshlogo*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Babenko, Lyudmila. 2021. *Alfavit emotsii: Slovar'-tezaurus emotivnoi leksiki*. Yekaterinburg, Russia; Moscow: Kabinetnyi uchenyi.
- Brubaker, Rogers. 2012. *Etnichnost' bez grupp*. Moscow: Izdatel'skii dom Vysshei shkoly ekonomiki.
- Enina, Lidiia. 2016. "Identichnost' kak diskursivnyi kontsept i mekhanizmy diskursivnoi identifikatsii." *Politicheskaiia lingvistika* 6:159–167.
- Enina, Lidiia, and Natalia Gramatchikova. 2021. *Pervostroiteli Uralmasha kak performativnyi proekt: Konstruirovaniie zavodskoi identichnosti*. Yekaterinburg, Russia: Izdatel'stvo "Kabinetnyi uchenyi."
- Fitzpatrick, Sheila. 2014. "Schast'e i toska: Istoricheskii ocherk o vyrazhenii emotsii v predvoennoi Rossii (fragmenty)." *Politicheskaiia lingvistika* 1:284–288.
- Il'in, Evgenii. 2001. *Emotsii i chuvstva*. Saint Petersburg, Russia: Piter.
- Landsberg, Alison. 2004. *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. New York: Columbia University Press.
- Makarova, Nadezhda. 2017. "Emotsional'nyi rezhim epokhi forsirovannoi industrializatsii (po materialam Magnitogorska)." *Dialog so vremenem* 60:238–256.
- McGaugh, James L. 2003. *Memory and Emotion: The Making of Lasting Memories*. New York: Columbia University Press.
- Mel'nikova, Ol'ga, and Ekaterina Kutkovaia. 2014. "Diskursivnyi podkhod k issledovaniuu identichnosti." *Vestnik Moskovskogo universiteta: Seriia 14. Psikhologiiia* 1:59–71.
- Nelson, Theodor H. 1972. "As We Will Think." Pp. 439–454 in *Online 72: Conference Proceedings*, vol. 1. Uxbridge, UK: Online Computer Systems Ltd.
- Nurkova, Veronika. 2000. *Svershennoe prodolzhaetsia: Psikhologiiia avtobiograficheskoi pamyati lichnosti*. Moscow: Izdatel'stvo URAO.
- Nurkova, Veronika. 2010. "Avtobiograficheskaiia pamiat' v optike kul'turno-istoricheskoi i deiatel'nostnoi metodologii." *Psikhologiiia: Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* 2(7):64–82.
- Payne, Jessica D., Lynn Nadel, Willoughby B. Britton, and W. Jake Jacobs. 2004. "The Biopsychology of Trauma and Memory." Pp. 76–128 in *Memory and Emotion*, edited by Daniel Reisberg and Paula Hertel. New York: Oxford University Press.
- Reddy, William M. 2004. *The Navigation of Feeling: A Framework for History of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reisberg, Daniel, and Friderike Heuer. 2004. "Memory for Emotional Events." Pp. 3–41 in *Memory and Emotion*, edited by Daniel Reisberg and Paula Hertel. New York: Oxford University Press.
- Sandomirskaiia, Irina. 2002. *Kniga o rodine: Opyt analiza diskursivnykh praktik*. Vienna; Munchen: Wiener Slavistischer Almanach.
- Turner, Jonathan H., and Jan E. Stets. 2006. "Moral Emotions." Pp. 544–566 in *Handbook of the Sociology of Emotions*, edited by Jan E. Stets and Jonathan H. Turner. New York: Springer.
- Zorin, Andrei. 2016. "'Poniatie literaturnogo perezhivaniia' i konstruktsiia psikhologicheskogo pronarrativa: Istoriiia i povestvovanie." Pp. 12–27 in *Istoriiia i povestvovanie: Sbornik statei*, edited by Gennadii Obatnin and Pekka Pesonen. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.